

Нет на свете города более нереального, более фантастического, чем Венеция, построенного не благодаря, а вопреки природе. Его вычурность и чрезмерность близка широкому русскому характеру, от того и пересекались эти миры, начиная с самых основ города – с лиственницами для свай, которую венецианцы покупали у русских купцов. В многотомной хронографии Венеции, написанной итальянским историком Тентори в XVII веке, почти за сто лет до знаменитой Карамзинской «Истории государства Российского», мы находим первые упоминания об этом факте: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах – пермскими карагаями». Тентори писал, что город стоит почти на двух миллионах таких свай. Лиственницу возили морем, торговые пути включали в себя взаимодействие с Причерноморьем, играющим важнейшую роль в укреплении и расширении торговых связей. Так же известно, что Петр Первый, любитель европейской культуры, периодически отправлял своих пансионеров учиться за границу – в том числе и в Венецию.



Венеция.  
*Фото из архива Я.-М. Курмангалиной.*

Конечно, город-история, город-музей не мог не привлекать русских, как в мирные времена, так и в переломные моменты нашей общей исторической действительности. В нём находили пристанище многие деятели культуры – пусть ненадолго, путешествуя, пусть проездом, в поисках лучшей жизни, но каждое их пребывание в Венеции оставляло след в русском и общемировом культурном пространстве. После революции 1917 года, когда из России в очередной раз стали уезжать видные писатели, поэты, композиторы, художники, дороги многих пересекались в Венеции, а кое-кто завершил свой земной путь непосредственно там – на кладбище Сан-Микеле, острове, окружённом теплыми водами Адриатики. В данном историческом экскурсе мы заострим внимание на поэтической составляющей русского присутствия в Венеции, начиная с давних времен.

Если до XIX века русско-итальянское взаимодействие имело больше практический характер, то именно с этого времени в Венецию началось самое настоящее паломничество деятелей культуры, и прежде всего русских поэтов. Мода ли это, с легкой руки лорда Байрона, или же явление политического свойства, судить сложно. Как мы упоминали выше, на тот момент русские посещали Венецию, в основном, проездом или по служебной надобности. Исключение составил разве что граф Александр Васильевич Трубецкой, офицер лейб-гвардейского кавалергардского полка, фаворит императрицы Александры Фёдоровны, купивший в 1846 г. палаццо Ка д'Оро для своей любовницы, балерины Марии Тальони, с которой жил открыто в течение нескольких лет. Однако еще в 1819-1921 гг. в Венеции побывал К.Н. Батюшков – по пути в Неаполь, для принятия дипломатической должности. Он пишет Н. М. Карамзину в мае 1819 г.: «Кругомъ виды живописные, ... и повсюду воспоминанія; здесь можно читать Плинія, Тацита и Виргиля и ощущью поверять музу исторіи и поэзії». Неудивительно, что поэт живо интересовался итальянской культурой и искусством, много переводил, а в последние годы перед болезнью занимался переводом «Божественной комедии» Данте. Художественные переводы Батюшкова имели успех: он стал одним из лучших итальянистов своего времени. В.А. Жуковский побывал в Венеции в 1838 году, во время путешествия по Европе, и город, по его собственным словам, вызвал в нём ощущение родства, чувство второй родины. Он посетил домик, где прошли последние годы жизни Петрарки, так же, как современные поэты навещают могилу И. Бродского. До наших времен дошли его записи об Арсенале, одном из незабываемых мест венецианского бытия: «Здесь ветшают захваченные некогда венецианцами турецкие бунчуки и знамена, трофеи битвы при Лепанто – арбалеты, панцири и шлемы, копья и щиты... Два древних мраморных льва из Афин сторожат вход в Арсенал». В 1850-60 гг. в

Венеции бывал Ф.И. Тютчев, оставив о ней по-державински торжественные строки. «Лазоревые зыби», «жених порфироносный», «тень от львиного крыла» – воспевание первенства Венеции над Адриатикой:

(...) Дож Венеции свободной  
Средь лазоревых зыбей,  
Как жених порфиродный,  
Достославно, всенародно  
Обручался ежегодно  
С Адриатикой своей.

П.А. Вяземский впервые приехал в Венецию 23 августа 1853 года и был покорен увиденным. Картина, описанная поэтом, до сих пор не потеряла своей актуальности: в этом и поныне заключается особенность города, который «рознь всем городам». Противопоставление трущоб и дворцов, «экипажи, точно гробы» – это темы, которые позже будут подхвачены многими русскими поэтами:

(...) Здесь – прозрачные дороги  
И в их почве голубой  
Отражаются чертоги,  
Строя город – под водой.  
Экипажи – точно гробы,  
Кучера – одни гребцы.  
Рядом – грязные трущобы  
И роскошные дворцы....

В 1857 году, по приглашению князя Трубецкого, в Венецию прибыл Аполлон Григорьев и, как он писал, «одурел (буквально одурел) в Венеции, два дня в которой до сих пор кажутся мне каким-то волшебным фантастическим сном»:

(...) Гляделся в волны мраморный и хладный,  
Запечатленный мрачной красотой,  
Их старый лик, по-старому нарядный,  
Но плесенью подернутый сырой...

В 1869 г., по дороге из Флоренции в Дрезден, в город приехала чета Достоевских. После этого путешествия итальянские темы стали нередки в письмах и трудах Фёдора Михайловича. В своей любви к почерневшему мрамору Венеции признаётся писатель, поэт, философ, представитель «старшей» волны эмиграции, Дмитрий Мережковский: «Люблю твой золотой, твой мраморный собор, / На сон, на волшебство, на вымысел похожий», «Люблю я мрамор почернелый / Твоих

покинутых дворцов...». Вода у поэта «легче воздуха», живет своей жизнью – «горит, и дышит и синеет».

В начале XX века – эпохи небывалого расцвета русской литературы и периода тесного взаимодействия культур, Венеция теряет некий условный литературный флёр, и вписывается в общее поэтическое пространство, исходя из личного взгляда, впечатления от реально увиденного города. Это сильно отличает венецианские стихи этих лет от традиции XIX века. «Венецианский сон шептал мне о былом», – напишет В.Я. Брюсов, путешествуя по Италии в мае-июле 1902 г., воспевая Венецию, как вершину человеческого гения. Весной и летом 1909 г. в Италии побывал А. Блок, и в этой поездке произошла его переоценка ценностей: «Единственной спасительной ценностью становится высокое классическое искусство»:

Холодный ветер от лагуны.  
Гондол безмолвные гроба.  
Я в эту ночь – больной и юный –  
Простерт у львиного столба.  
На башне, с песнико чугунной,  
Гиганты бьют полночный час.  
Марк утопил в лагуне лунной  
Узорный свой иконостас. (...)

Анна Ахматова и Николай Гумилев посетили Венецию во время свадебного путешествия. Для Ахматовой Венеция стала золотой и лазоревой, лёгкой, точно игрушечной:

(...) Сколько нежных, странных лиц в толпе.  
В каждой лавке яркие игрушки:  
С книгой лев на вышитой подушке,  
С книгой лев на мраморном столбе.

Николай Гумилев, так же, как Блок, уловил призрачную суть этого города – всё лишь зыбкое отражение «венецианских зеркал». Не случайно у них совпадает мрачное настроение, и даже набор реалий – гиганты на башне, лев на колонне, собор. Борис Пастернак в стихотворении 1913 г. сравнивает Венецию с «размокшей каменной баранкой», а гондолы точат о пристань тесаки: «Я был разбужен спозаранку / Щелчком оконного стекла. / Размокшей каменной баранкой / В воде Венеция плыла...».

Италия была притягательна и для Ивана Бунина, эмигранта первой волны. В 1915 году, в самый разгар Первой мировой, он писал, подразумевая самое плодотворное время в своём творчестве, о «жажде странствовать и работать». «Всякое путешествие очень меняет человека... – считал он, – Как нужно всё видеть самому, чтобы

правильно всё представить себе». Венецию он описывал с позиции повседневности, обычной жизни, в меру суетливой, но от этого не менее интересной:

Восемь лет в Венеции я не был...  
Всякий раз, когда вокзал минуешь  
И на пристань выйдешь, удивляет  
Тишина Венеции, пьянеешь  
От морского воздуха каналов. (...)



Венеция.  
*Фото из архива Я.-М. Курмангалиной.*

В несколько иной тональности изображал город русский поэт, переводчик, художник «первой волны» эмиграции Василий Сумбатов (1893, Санкт-Петербург, – 1977, Ливорно), в частности, в стихах о мрачнейшем Мосте Вздохов:

Как мрачен в кровавом закате  
Тяжелый тюремный карниз!  
Мост вздохов, молитв и проклятий  
Над чёрным каналом повис.  
Налево – дворец лучезарный,  
Ряды раззолоченных зал, –  
В них где-то таился коварный  
Всесильный паук – Трибунал; (...)

Владислав Ходасевич писал о Венеции в подчёркнутом неромантической манере («Нет ничего прекрасней и привольней»). Да и повод к написанию был весьма неромантический – расставание с возлюбленной:

Нет ничего прекрасней и привольней,  
Чем навсегда с возлюбленной расстаться  
И выйти из вокзала одному.  
По-новому тогда перед тобою  
Дворцы венецианские предстанут.  
Помедли на ступенях, а потом  
Сядь в гондолу. К Риальто подплывая,  
Вдохни свободно запах рыбы, масла  
Прогорклого и овощей лежалых... (...)

Нельзя не отметить, что довольно часто в русских венецианских стихах город на лагуне сравнивается с русским городом, стоящим на сырых болотах – Петербургом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Венеция стала знаковым местом и для Иосифа Бродского, представителя волны русской эмиграции второй половины XX века. Бродский впервые оказался на вокзале «Санта Лючия» в 1973 году, через весьма небольшое время после своего изгнания из СССР. Он приехал туда на рождественские каникулы, будучи уже преподавателем в Мичиганском университете. Первое знакомство с Венецией произвело на поэта неизгладимое впечатление, и с того самого момента он ездил в Венецию в течение двадцати лет. Его впечатления описаны в знаменитых «Венецианских тетрадях» и эссе «Набережная Неисцелимых»:

Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая  
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.  
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая  
вразнобой тишину.  
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,  
и рука, дотянуться до горлышка коротка,  
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго  
каменного платка.

В одном из интервью Бродский объясняет причины своей привязанности к Венеции: «Она во многом похожа на мой родной город, Петербург. Но главное – Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности в иного рода любви, в любви к женщине. Она так прекрасна, что понимаешь: ты не в состоянии отыскать в своей жизни – и тем более не в состоянии сам создать – ничего, что сравнилось бы с этой красотой. Венеция недосягаема. Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции – быть там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции». Город, окружённый беспамятной водой, которую Бродский отождествлял с великим Хроносом, город, чей расцвет остался в прошлом – в Средние века

Венеция была империей, господствовавшей на Адриатике и континентальной Италии, центром искусства, книгопечатания, музыки и европейской культуры, – в нынешнее время лишь использует былую роскошь в качестве туристического аттракциона. В той или иной степени это внутреннее родство поэта с городом происходило в таком отождествлении – как лирический герой Бродского, которого предало прошлое, не имел будущего, так и Венеция шла, по его мнению, «из ниоткуда в никуда», оставаясь, тем не менее, абсолютно уникальным явлением в мировом пространстве, зыбкой сущей между небом и водой: «Поставленное стоймия кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди оставило время, оно же – вода. Плюс, есть несомненное соответствие – если не прямая связь – между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознаёт свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет: красотой» («Набережная неисцелимых»).



Венеция. На кладбище Сан-Микеле.  
Фото из архива Я.-М. Курмангалиной.

В 90-х Бродский много общался с журналистами и часто рассуждал о смерти, шутил о ней. Даже своё желание быть похороненным на «острове мертвых» Сан-Микеле, поэт описал в шуточном послании к давнему товарищу Андрею Сергееву:

Хотя бесчувственному телу  
равно повсюду истлевать,

лишенное родимой глины, оно в аллювии долины  
лombardской гнить не прочь. Понеже  
свой континент и черви те же.  
Стравинский спит на Сан-Микеле...

Приехать на «остров мёртвых» можно с набережной Дзаттере, ранее называемой Набережной неисцелимых, где сейчас на одном из фасадов висит мемориальная доска Иосифа Бродского. Своё печальное название набережная получила во времена эпидемии чумы – там находился госпиталь для неизлечимо больных, тела которых после смерти выносили и складывали на площади. Правда, для Бродского это название имело иное значение. Например, он считал «неисцелимым» своего «заклятого друга» Эзру Паунда, антисемита, поклонника фашистской идеи и приверженца Муссолини, который до самой старости, даже пройдя тюрьму и психбольницу, не смог отказаться от своих идей и заблуждений. По иронии судьбы эти два недруга похоронены рядом на Сан-Микеле – могилу Бродского от могилы Паунда отделяет еле заметная тропинка.

Упомянув о кладбище Сан-Микеле, нельзя не назвать ещё несколько выдающихся соотечественников, похороненных на нём. На православной части кладбища находится могила Сергея Павловича Дягилева, одного из основателей группы «Мир искусств», организатора «Русских сезонов в Париже» и труппы «Русский балет Дягилева». Последние годы он жил в кредит и не имел возможности оплатить гостиницу. Его похороны оплатила Коко Шанель, хороший друг Дягилева. На могиле надпись «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений». Поклонники оставляют здесь памятные, наполненные песком, чтобы их не уносил ветер. Справа от Дягилева покоится прах Игоря Федоровича Стравинского, выдающегося композитора, дирижёра и пианиста. Стравинский никогда длительное время не жил в Венеции, однако после его смерти власти «города на воде» согласились выделить место для захоронения великого музыканта. Позже рядом с ним была похоронена и жена. На Сан-Микеле так же похоронен Пётр Вайль – российский и американский журналист, писатель и радиоведущий, в 1970-х годах эмигрировавший из Советского Союза. Автор сборника путевых эссе «Гений места» и ведущий одноимённого цикла телепередач в 1990-х, он основал Академию русской современной словесности.

Русская поэзия XXI века не обходит своим вниманием город на воде. Александр Кушнер продолжает блоковскую традицию, упоминая «катрафалкоподобные стаи» гондол, отыскивает удивительный эпитет для венецианских дворцов: «скалоподобные руины». Жизнь города подобна жизни человека, утверждает поэт: «Разрушайся! Тони! Увяданье / Это правда. В веках холодей! / Этот путь тем и дорог, что

зданья / Повторяют страданья людей...». Поэт отмечает «розоватый камень кружевной» мавританского стиля, «весь декор прищурено-стрелковый, / весь гаремно-сводчатый уют, сердцевидный и трёхлепестковый, / будто пики с трефами сдаются». Эта карточная ассоциация вновь напоминает об игровом, карнавальном духе Венеции. Живущий с 1982 г. в Канаде и с 2006 г. в США Бахыт Кенжеев, чьи дочери избрали для жизни Венецию, подчеркивает то самое сходство Петербурга и Венеции, которое в свое время пленило Бродского – «Невы холодающей венецианские воды». Лирический герой Бахыта Кенжеева стремится в Венецию: «там вода тоскует по небесам, / и пространство, как время, крен / даёт в сторону пропасти. ... / Сколько времени нищее ни кружи, / как сизарь над площадью эс-вэ Марка, / будет знак ему: «Не кормите птиц. / Не переступайте выщербленных границ / между хлябью и твердью».

Для Ольги Седаковой «Венеция златая» прочно связана с именем И. Бродского:

...так мертвый уносит,  
захлопнув свой том,  
ту позднюю осень  
с названием «при нем»,  
ту башню, ту арку,  
 тот дивный проем,  
ту площадь Сан Марко,  
где шли мы втроем.

Её поддерживает Евгений Рейн, друживший с И. Бродским: «Ты – из ближней могилы, я – из давней мороки, / Значит, ныне сбываются судьбы и сроки... Только школьник наш впрок твои рифмы заначит, / Перепутает строфы, перепробует строки». Возможно, потому, что Венеция стала последним приютом для Бродского, Е. Рейн называет её «затычкой простора», «тупиком»:

Веницейское время кончается скоро,  
Адриатика ночью – что затычка простора,  
Этот город – тупик, ну и слава же Богу,  
Что не надо опять собираться в дорогу.  
От собора, Пьяцетты и до Арсенала.

Для Льва Лосева Венеция – это город, «где львы крылаты», «где кошки могут плавать, стены плакать», город, в котором навсегда остался Бродский:

...ты там застрял, остался, растворился,  
перед кофейней в кресле развалился

и затянулся, замер, раздвоился,  
уплыл колечком дыма, и – вообще  
поди поймай, когда ты там повсюду –  
то звонко тронешь чайную посуду  
церквей, то ветром пробежишь по саду,  
невозвращенец, человек в плаще (...)

Для поэта Лены Элтанг (Литва) Венеция – «чудовище женского рода», «поднебесная свалка». Сколько в этом иронии!

обмануты сводкой погоды  
сойдёте в лидо без пальто  
– чудовище женского рода  
венеция с чёрного хода  
впускает своих кукловодов  
а вас не встречает никто (...)

Елена Максина (Филадельфия) в «Венецианских мотивах» развивает популярную у русских поэтов тему города-кладбища – «Адриатика крепко обнимает погост», «что ни крыша, то склеп»:

Купола на ходулях, вековые ветра,  
удержусь, упаду ли в опрокинутый рай?  
Венценосный Сан Марко, голубей кутерьма,  
захмелевшие арки, золотая тюрьма.

Адриатика крепко обнимает погост.  
В этом городе ветхом, что ни улица – мост,  
что ни берег, то площадь, что ни крыша, то склеп,  
что ни камень, то моши, что ни храм, то вертеп.....

Это далеко не всё, что сказано о городе, который многим кажется всё более и более нереальным, погружаясь в ил, и всё более-более виртуальным, благодаря многочисленным текстам и стихам, написанным о нём. Но мы помним, что на мраморном надгробии Бродского начертана цитата из Проперция: «Letum non omnia finit», что означает «Со смертью всё не кончается». Ещё не один поэт прельстится тамошними красотами и напишет свою собственную Венецию.